

18(5) сентября 2001 года исполнилось 160 лет со дня рождения уральского писателя Ф. М. Решетникова. Профессор Уральского государственного университета, известный литературовед И. А. Дергачев (1911–1991) посвятил изучению жизни и творчества этого самобытного писателя много лет, оставив после себя не только большой архивный материал, касающийся воссоздания родословной и анализа произведений писателя, но и текст монографии «Ф. М. Решетников: жизнь и творчество», которую, к сожалению, не успел опубликовать. Настоящая публикация представляет собой первую главу первой части монографии, отражающую во многом неизвестные материалы, касающиеся родословия Ф. М. Решетникова. Вторая и большая часть третьей главы из раздела «Корни» – о раннем творчестве писателя – опубликованы в журнале «Урал» (2001. № 9).

И. А. Дергачев

СЕМЬЯ И РОД

1

Он родился неброским днем бабьего лета на одной из тихих улиц горного города Екатеринбурга. Город назывался горным не по своему месту у подножия Уральского хребта, а по особому статусу, определившему его необычное положение в системе населенных пунктов Российской империи. Оставаясь уездным, подчиненным Пермскому губернатору, он был одновременно административным центром горной промышленности Урала, и власть Главного горного начальника ощущалась очень широко. Такое положение города, находившегося к тому же на перекрестке дорог, соединявших заводы большого промышленного края, во многом определяло и своеобразие социального состава его жителей, количество которых в 1841 году превышало 17300 человек, превосходя население губернского центра. Почти пятьдесят процентов составляли «мастеровые» и «непременные работники», то есть два разряда рабочих и их семьи.

Как во многих других заводах Урала, в центре города простирался пруд. Подпертые плотиной, воды Исети приводили в движение тяжелые молоты и прессы Монетного двора, камнерезные и шлифовальные станки Гранильной фабрики, действовали и другие государственные заводы меньшего состава. Рядом с городом, не входя в его границы, лежал тоже не маленький Верх-Исетский завод господ Яковлевых. Для сороковых годов XIX века Екатеринбург был одним из самых крупных промышленных центров России, сосредоточивших большую массу рабочих. Их присутствие накладывало отпечаток на весь быт города близ границы, за которой лежала Сибирь.



В метрической книге городского Екатеринбургского собора, называвшегося «горным», в 1841 году была проведена запись, что пятого сентября рожден, а седьмого – крещен мальчик Федор, сын штата почтовой конторы почтальона Михаила Васильева Решетникова и законной жены его Екатерины Тимофеевой. Наречен он был в честь святого Феодора Александрийского, память которого падала на 12 сентября. Таинство крещения совершал священник со странной для Урала фамилией Милордов, рядом с которой как-то особенно бросалась в глаза демократичность восприемников. Первым был записан почтальон Иван Трофимович Кочкин, что было естественно: он жил в том же доме, где и Решетниковы, крестной названа «мастерская вдова Мария Сергеевна Гусельникова»

Близость Решетниковых к мастеровым обнаруживается и в записи о бракосочетании тех, кто дал жизнь Федору Михайловичу. В названной книге собора о родившихся, сочетававшихся браком и умерших за 1840 год двадцать шестого февраля значится, что в брак вступил почтальон Михаил Васильев Решетников, возраст которого показан в 19 лет, и девица Екатерина Тимофеева Панкратова, дочь губернского секретаря Тимофея Панкратова, 17 лет. Свидетелями со стороны жениха были Василий Решетников, его старший брат, и Матвей Рукавишников, оба почтальоны и одновременно соседи по квартире молодых. Со стороны же невесты свидетели – рабочие самых крупных предприятий города: «мастерской Гранильной фабрики Евстигней Калугин» и «мастерской Монетного двора Кирилл Сартаков».

Были они самыми обычными рабочими крепостного времени. Жили они не по соседству, а в другой части города, в другом приходе. Значит, только какие-то дружеские связи определили их участие в церковной церемонии освящения брака родителей Ф. М. Решетникова. Семья оказывается близкой к рабочим, как будто предопределяя органическое чувство родства с ними, которое столь ярко проявится в будущем творчестве екатеринбургского мальчика, сына почтальона.

О родителях Ф. М. Решетникова все биографы говорят обычно со слов Г. Успенского, который во многом опирался на повесть писателя «Между людьми», считая ее полностью автобиографической. Из этих сведений следовало, что отец его был сначала дьячком, а потом перешел в почтальоны. Мать же названа «дьяконской сиротой». Таким образом создавалась легенда о духовном происхождении писателя-шестидесятника, что сближало его биографию с биографией многих других литераторов эпохи, но уходило от истины. В свидетельстве социальное положение о браке Екатерины Тимофеевны определено иначе: она из чиновничьей семьи. Она не сирота. Ее отец, Тимофей Львович Панкратов, даже в 1860 году будет переписываться с внуком, передавать ему благословение, поучать, наставляя в духе, общем для своей среды.

Ф. М. Решетников припоминает более ранние встречи с семьей деда, его младших дочерей, Александру и Палагею, двух своих теток, которые с ним играли в детстве и возрастом были близки. Федор Михайлович в 1861 году в письме к деду представлял их либо невестами, либо молодыми женщинами.

В это время дедушка не богат. Он задержал отправку письма, так как не было денег на марку, о чем он сообщает внуку.

Вот, пожалуй, и все, что мы знаем о деде, отце матери.

Отец ее был, видимо, каким-то очень незначительным чиновником, так как в Адрес-календаре, или Общем штате Российской империи, его имени не нашлось. Надо сказать, что из уездной администрации в списки уездных чиновников, удостоенных «пропечатания», попадали только те, кто занимал должности, знакомые нам по «Ревизору» Гоголя: городничий, судья, почтмейстер, да еще казначей, стряпчий, пристав – вот, пожалуй, и все. О географическом месте его службы сказать трудно. Но обращают на себя внимание воспоминания писателя о совместных играх с тетками, причем не как о каком-то единичном случае. Это заставляет думать, что встречи с родными матери происходили в Перми, где Решетниковы жили долго. Конец жизни дед провел в Осе, откуда шли письма в Екатеринбург.

Что сблизило «тихую и кроткую» Екатерину Тимофеевну, чиновничью дочь, с почтальоном, о котором было известно, что он пьет? Кто свел их?

В дневнике Решетникова упоминается дедушка, Максим Васильевич Антропов. О нем говорится именно как о деде. Его отношение к Федору Михайловичу, когда он живет у него на квартире в Перми, самое доброе. Он был в 1840–1850 годах заведующим «общим столом» Уральского горного правления, затем становым приставом, а в 1860 году был с должности уволен и отдан под суд.

В повести «Между людьми», где много автобиографического материала, встречается беглое замечание, что именно этот дедушка, названный в повести по-другому, но имеющий все приметы своего прототипа, «выдавал замуж» мать героя-повествователя. Вероятно, Антропов какое-то время воспитывал Екатерину Тимофеевну, но недолго.

В исповедных ведомостях церковей города Екатеринбурга за 1838 год значится он и его супруга Устинья Петровна, другие домочадцы не отмечены.

Обращает внимание то, что Федор Михайлович в письмах, называя Тимофея Львовича Панкратова дедушкой, именует жену его, Екатерину Яковлевну, не бабушкой, а его «супругой». Скорее всего, сестра Максима Васильевича или его первой жены, Устиньи Петровны, была матерью Екатерины Панкратовой, но рано скончалась. Полусирота нашла приют в семье Антроповых и была отсюда выдана замуж.

Много позднее, в середине шестидесятых годов, Федор Михайлович спросил дядю, какой же была его мать? В ответном письме было сказано: «У матери твоей глаза были черные, она была красивая и приятной наружности. Лицо ее было со всеми правильными очертаниями». Так рисовал ее портрет по-своему, неумело Василий Васильевич Решетников, видимо, по-доброму относившийся к жене брата. Вот и все...

Мало, очень мало мы знаем о ней, давшей жизнь замечательному писателю.

Отец писателя, Михаил Васильевич Решетников, родился в семье почтальона Нижнетагильской почтовой конторы 21 мая 1822 года. Так записано в книге Входа-Иерусалимского собора Нижнего Тагила. Его крестной была шестнадцатилетняя сестра Ирина, с которой мы еще встретимся. Тяготение семьи к демидовским «служителям», крепостным, занимавшим места в управлении заводом, сказалось в том, что восприемником был записан Федор Булавин, сын помощника приказчика Выйского завода, сам занимавший в ту пору и позднее довольно значительные должности «по заводскому производству», как сказано в «Ведомости о служащих».

Получил Михаил Васильевич «домашнее воспитание» и с пятнадцати лет начал тянуть лямку почтальона сначала в Билимбаевском заводе на бойком тракте Екатеринбург – Пермь, куда был назначен в июне 1837 года. В 1838 году его перевели в Оханск, а в декабре 1839 года, не без помощи брата, закрепившегося в Екатеринбургской почтовой конторе, ему удалось устроиться на ту же должность в горном городе.

На время женитьбы ему еще не было 18 лет (а не 19, как записано в книге о браке). В биографии писателя, написанной Г. Успенским, на которую ссылаются все остальные авторы, пишущие о Решетникове, сказано, что отец его был дьячком, а затем вышел из духовного звания и поступил в почтальоны. Как видно, Михаил Васильевич дьячком не бывал. Им невозможно было стать в том возрасте, в каком он начал свою службу, даже если бы и принадлежал к духовному сословию по рождению, чего не было. Но продолжаем разыскания. Отец Михаила и Василия Ивановича Решетниковых в течение долгих лет был точно таким же почтальоном, как и его сыновья. Сохранился его послужной список. В этом документе наше внимание прежде всего останавливает указание на его социальное происхождение.

О Василии Ивановиче Решетникове сказано, что он родом из обер-офицеровских детей. Значит, его отец был либо строевым офицером, либо чиновником. В одном из писем Василия Васильевича Решетникова Федору Михайловичу тоже говорится: «...Я взят не из низкого сословия. Дед мой был уездным казначеем в Перми, имел крепостных людей». Вот как. Но дядя продолжает с горечью и в поучение племяннику, что сын этого казначея, то есть отец Василия и Михаила, шарлатан, «не хотел нигде служить и прижил меня и прочих и потерял дворянское родство». Проверить семейную легенду оказалось легко, хотя раньше биографы не шли дальше этой цитаты из письма. В «Месяцеслове с росписью чиновных особ в государстве на лето от Рождества Христова 1796» уездным казначеем в Перми, действительно значится Иван Решетников, указан и его чин – «городовой секретарь». Он и в предыдущие годы, начиная с 1791, отмечен в «Месяцеслове...» как «секретарь палаты гражданского суда Пермского наместничества». Издание подобного адрес-календаря с воцарением Павла I в 1797 году было прекращено. Когда в 1802 году книжка «Месяцеслова» вышла вновь, фамилии Решетников уже не было. Не оказалось ее и в формулярных списках о службе чиновников Пермской губернии, представленных в столицу в 1798 году. Но с прадедом писателя помогают познакомиться формулярные списки чиновников Пермского наместничества. В «Списке Пермской гражданской палаты о присутствующих секретарях и протоколистах» за 1790 год значится, что секретарем Палаты состоит губернский архивариус Иван Решетников, 36 лет. Социальное положение его определено несколько сложно: «из мастеровых детей, не положенных в подушный оклад». В XVIII веке дети наиболее отличившихся заводских мастеровых, обученные в «словесной» и «цифирной» школах, предназначались для ведения канцелярских дел и в списки рабочих не заносились, подушный оклад с них не взыскивался. Они становились представителями того слоя людей, которые были относительно свободны, вступали в государственную службу и по выслуге лет получали чин. Так и было с Иваном Решетниковым.

Как сказано в формуляре, в 1772 году шестнадцати лет он вступил в службу писцом в Верхотурскую уездную расправу и, пройдя много ступеней служебной лестницы, в 1785 году получил чин губернского архивариуса.

Супругой этого чиновника была дочь «ученика», то есть рабочего, не достигшего звания мастера, Екатеринбургской Гранильной фабрики Агафья Ивановна Карпова. В январе 1790 года Иван Тимофеевич был переведен в Пермскую гражданскую палату и назначен, как говорилось, ее секретарем. Служить ему пришлось под началом чиновников, фамилии которых вошли в историю в связи с биографией А. Н. Радищева.

Председателем палаты был И. Д. Прянишников, а советником – И. У. Ванслов, люди образованные и передовые. Как установил А. Г. Татаринцев, в ноябре 1790 года Радищев встречался с ними. Из Палаты гражданского суда Решетников перешел в уездные казначеи сразу после вынужденной отставки Прянишникова. Видимо, прадед Федора Михайловича был как-то близок с указанными людьми. Но внезапно он умер, оставив вдову и трех детей. Один из них, Василий, назван в его формуляре 1791 года. Тогда он «за малолетством» нигде не обучался. Имя Василий – лишний аргумент в пользу того, что перед нами действительно прадед писателя: случайное совпадение фамилии и имени тут исключается. Второй сын – Яков. Имя его возникнет в переписке Решетникова в шестидесятые годы, связанной с делом о наследстве, стоимость которого была определена в пятьдесят рублей с копейками. Видимо, и он шел столь же трудной дорогой, как и его брат Василий. Мы не знаем, были ли еще какие-нибудь дети у Ивана Решетникова. Однако, судя по тому, что в близких родственниках Федора Михайловича числились Каменские, возможно, была еще у Ивана дочь, давшая начало роду Каменских, мелких чиновников. А кто же прапрадед Федора Михайловича, Тимофей Решетников? И о нем сохранились документы. В «Списке имений мастеровых Екатеринбургской заводской конторы» за 1753 год мы находим Тимофея Решетникова, который «вступил в работу» в 1737 году. Родился он, видимо, около 1720 года.

Социальное положение его обозначено «из крестьян», но занимал он по тем временам видную должность молотового мастера: к таким относились достаточно уважительно. Дети его учились в екатеринбургской школе.

Таким образом, прежде чем стать почтальонами, Решетниковы вышли из коренной среды уральских мастеров, «взлетели» до видной чиновничьей должности уездного казначея, чтобы опуститься, утратить нажитые преимущества и искать спасения от зачисления в податное сословие переходом в почтовое ведомство. Но возвратимся к деду писателя, Василию Ивановичу.

Как сказано в его формуляре, родился он в 1788 году. В документах, изготовленных Пермской губернской почтовой конторой в 1822 году, ему значится 34 года. В самостоятельную жизнь он вступил очень рано. Четырнадцатилетнего мальчика назначили копиистом Пермского губернского правления. Через год местом его службы оказался уже Кунгурский земский суд, где, впрочем, он задержался всего на один месяц. В 1803 году он уже в Оханске, в той же должности копииста. Только в 1809 году его переименовали в подканцеляристы, что свидетельствовало об успехах по службе. В Оханске он очень рано женился на крестьянской девушке Алене Сидоровне и в 18 лет стал уже отцом первой дочери, которую нарекли Ири-

ной. В 1811 году в Оханске же родился сын Алексей. В декабре этого года службу в суде Василий Иванович сменил на другую: он вступил в почтовое ведомство. Начался новый круг перемещений: Пермь, Кунгур, где в 1814 году появился на свет будущий воспитатель писателя, его дядя, Василий Васильевич. С первого апреля 1816 года семья осела наконец в Нижнем Тагиле, где глава ее занимал должность почтальона до 1833 года. Его сыновья начинали службу здесь же. Старший, Алексей Васильевич, пробыл на этой должности в Тагиле с 1829 по 1842 год, когда его перевели в другой большой горный завод – Невьянский. С 1834 по 1836 год здесь же был почтальоном и Василий, проживший в рабочем поселке до двадцатилетнего возраста. Так или иначе Решетниковы в целом были связаны с Тагилом четверть века. Эти связи были продолжены дальше через Ирину Васильевну Решетникову, жившую в Тагиле до пятидесятых годов. Письма и «гостевание» у них расширяют время контактов с Тагилом почти до полувека. Но об этом дальше.

Полувековая принадлежность к почтовому ведомству всех близких родственников писателя не есть только случайный факт его биографии. За ним стоят особенности жизненного опыта, иная, чем обычная в других «людах низкого звания», жизненная позиция.

Многое было особым в положении этой группы людей. Почтовое ведомство в России, копировавшее военную организацию, было своеобразным государством в государстве. Люди, входившие в его штат, имели особый социальный статус. Почтовые чиновники, рядовые служители и почтальоны подчинялись суду только своего ведомства. Кто не имел чина, делились на две группы: тех, кто по рождению принадлежал к почтовой среде, и тех, кто зачислен в почтовое ведомство из различных податных сословий. Они давали подписку об обязательной службе в качестве почтовых служителей и почтальонов не менее 12, 16, а в отдельных случаях даже 20 лет. Вступив в службу, уже не были податными, освобождались от налогов, повинностей, в том числе и воинской, не подлежали общему суду, не могли быть без ведома своего начальства административно наказаны. Все это определяло особое самочувствие среды. Личность ощущала себя значительно более свободной и независимой в сравнении с другими.

Подчинялись почтальоны только прямому начальству. При всем том они, конечно, не были изъяты из-под влияния закона всеобщей покорности старшему, присущего крепостническому обществу, и полно испытывали на себе «милости» тех, кто стоит над ними, что достигалось подарками, приношениями, а то и денежными взятками. Ощущали они и гнев их, если оказывали «непокорство». За гневом могло идти и перемещение на менее выгодную должность в какое-нибудь захолустье.

Почтальонам была присвоена форма – темно-зеленый однобортный сюртук с черным воротником и обшлагами, с медными гербовыми пуговицами, – все должно было вызывать уважение окружающих, отграничивать почтовиков от других. Сразу было видно, что это «казенный человек», неприкосновенный и ответственный. Они носили перчатки, а ворот рубашки должен был стягивать галстук. Форменное обмундирование выдавалось бесплатно. В крепостнической России такое отличие в одежде, как и сходство ее с одеждой разночинцев, играло большую роль в социальном самочувствии человека.

Когда просматриваешь служебные формуляры почтовиков, окружавших Решетникова, сразу видишь, сколь подвижным становилось социальное море России еще до реформы, как шли поиски возможного приложения труда, известной независимости, доли свободы. Кого только нет среди тех, кто дал обязательство служить на почте десятилетия. В личных делах встречаются пометы: «из приказного звания», «из духовного звания», «из солдатских детей», «из детей нижних канторских служителей», «из унтер-офицеров» и «из крестьян». В личном деле сослуживца Василия Васильевича почтальона Колотинского, с сыном которого Федор Михайлович был особенно дружен, записано даже так: «Из шляхты, но дворянское достоинство документами не подтвердил». Не это ли движение людей в поисках лучшей жизни и прав личности на своеобразном перекрестке социальных миграций обострило в дальнейшем восприятие писателем двинувшегося в дорогу народного мира, ищущего, где лучше?

Другой особенностью почтового человека, которая отличала его от крестьянина, сидящего в деревне, от мещанина, выросшего в городскую жизнь, или заводского работника, «приписанного к заводу», который он не может покинуть, была необычайная пространственная подвижность. Читая формуляры почтовых служителей и чиновников, постоянно видишь, как часто эти люди перемещались то ли по воле начальства, то ли по собственной просьбе. В редких случаях вдруг обнаруживалась «оседлость», постоянство географической точки службы. Дед писателя, как говорилось, жил и в прикамском Оханске, и в уездном Кунгуре, и в Перми, пока не оказался в Нижнем Тагиле. Отец Федора Михайловича, напомним, до двадцати лет побывал в том же Оханске, заводе Билимбай, попал в Екатеринбург, а потом скитался на каких-то житейских дорогах, пока снова не оказался в том же Оханске, а после – в Красноуфимске.

Почтовики с этой точки зрения представляли живую географию. Порой в той же Екатеринбургской конторе собирались служившие в десятках пунктов губернии, а то и за ее пределами. Они могли порассказать многое.

Встречались и такие, как, например, почтальон Пермской губернской конторы Кузьма Калашников: в личном деле его дан полный список стран Западной Европы, которые прошел он унтер-офицером в Отечественную войну с 1813 по 1815 год. Здесь названы Саксония, Бавария, Силезия, Лотарингия, сказано, что он участвовал в переходе через Рейн, входил с войсками в Париж, был в Испании.

Надо иметь в виду также, что почтальон был постоянно в дороге. Летом и зимой, в жару и стужу, в дождь или в метель, в повозке или на санях, сидя на мешках с почтой и деньгами, он был в пути, в непрерывных поездках то в один, то в другой конец. Сдавал почту, возвращался обратно, чтобы снова повторить то же самое. Эти поездки изматывали, но и обогащали встречами с людьми, расширяли круг знакомств с другими почтальонами, с проезжающими, которые, пользуясь казенной гоньбой, останавливались на почтовых станциях. Горизонт знаний такого почтальона, даже при его относительно невысокой грамотности, был шире, чем у тех, кто, как улитка к раковине, прирос к месту. Слухи и толки шли с почтовыми людьми по губернии не хуже, чем с богомолками, странниками, всякой другой «бродячей Русью».

Сама почта в городе или крупном поселке Урала была родом клуба.

Дни доставки почтовой корреспонденции и время прибытия обычно объявлялись, и к приходу почты собирался люд, поджидающий кто газету, кто письмо, а то и просто желающий услышать новости. Конечно, люди постарше не утруждали себя явкой на почту. Таким охотно все доставляли на дом, что не было предусмотрено правилами и рассматривалось как доброхотная услуга почтальонов, которая разумела и «благодарность» им. Другие же прочие приходили, узнавали новости, обменивались сообщениями о них и расходились, чуть расширив знание мира.

Почтальоны жили все вместе на полуказарменном положении, в одном доме, где каждой семье отводилась комната. Достигшим должности сортировщика почтовой корреспонденции полагалось две комнаты, но тут же, вместе со всеми. Все это располагало к живым контактам бывалых людей, расширявшим знание о мире.

Такая интенсивность общения, которая выпадала на долю почтовиков способствовала – пусть чуть-чуть – тому, что привычные представления о жизни не казались уж столь неподвижными и обязательными, в поведении появлялась некоторая доля свободы. Они переменялись, но не настолько, чтобы составить своеобразных носителей разума в массе, живущей неподвижно. Продолжая признавать незыблемым порядок, установленный до них, они могли свободнее если не покритиковать «старших», то позлословить о них, опираясь не только на собственный разум, но и на опыт тех, других, с кем им приходилось встречаться.

Первоначальное воспитание Решетников получит в этой среде. Разумеется, не только с этими качествами окружающих он встретится в своей многотрудной жизни.

Заключение о потрясающей материальной бедности, которую увидел в этом кругу Г. Успенский, основано на недостаточно точно понятых письмах Василия Васильевича племяннику. «Живем между нищими и средними», – жаловался Василий Васильевич в другой связи, и это тоже было принято биографом за точное обозначение бедности на грани нищеты. Но в жалобе был заключен не столько экономический, сколько социальный смысл: жалоба эта означала положение между простыми людьми, рабочими, крестьянами (не обязательно самыми бедными), народом, лишенным многих удобств цивилизации, и теми хозяевами жизни, которые пользуются известными жизненными благами. Средние – это те, кто ведет почтовую переписку, получает газеты и журналы, живет в своем доме, на твердом и достаточно приличном жалованье. Быт семьи Решетниковых был далек от грани нищенства. Однако это и не была жизнь, где не учитывают копейки, не считаются со средствами. Во всяком случае, живя у дяди, Решетников голода и острой нужды испытывать не мог.

Но мы не остановились в достаточной мере на том, что Решетниковы полвека прожили в Нижнем Тагиле, самом крупном заводе Урала крепостнической поры. Нижний Тагил, не имеющий статута ни города, ни поселка, в административных документах так и назывался – заводом. Между тем по количеству населения он был в четыре – шесть раз больше уездных городов Пермской губернии. Еще в 1829 году в нем жило 12000 человек, то есть столько же или даже больше, чем в Перми. Все условия жизни трудового населения Нижнего Тагила были определены громадным заводским крепостническим хозяйством со сложившимися порядками, почти неограниченной властью собственного начальства. В основе всего ле-

жал труд многих тысяч кадровых рабочих крепостнической поры, для которых единственным источником заработка была заводская работа. Они составились из числа так называемых «приписных», переданных от государства в пользование Демидовым для обеспечения «заводского действия», и из купленных заводчиком крепостных центральных губерний, выведенных ими на Урал. «Приписными» оказались также «бежавшие от смут и нестроения московского государства» люди, искавшие воли. Приведенные в повиновение, они сохранили дух свободолюбия. Из поколения в поколение, передавая мастерство, рабочие вывели железо Нижнего Тагила на европейский рынок, где оно шло под маркой «Старый соболю». Но это же мастерство приводило к сознанию своего значения в жизни не только собственной семьи, но и всего завода, делало рабочих Урала не склонными подчиняться безропотно. Они, собранные в большие фабрики, как тогда называли цеха, ощущали свою силу в труде, в едином целенаправленном действии. Рабья психология при этом не могла распространиться широко и встречала насмешки и осуждение. Управление заводами, входившими в общее хозяйство Нижнетагильских заводов Демидовых, состоявшее из ряда отдельных, требовало особого разряда обученных людей – организаторов производства, в котором было занято более шестнадцати тысяч рабочих. Поэтому, кроме деления на крепостных и вольных, было еще свое внутреннее деление, предвещающее собой отношения уже буржуазные. Крепостные Демидовых делились на мастеровых и служительский класс. Оставаясь «рабами», служащие сами в то же время составляли аппарат управления и – это неизбежно – угнетения и подавления.

Почтовые люди были достаточно близки к «служителям». Конечно, почтальон не участвовал в системе выжимания пота и крови, но пользовался от щедрот тех, кто получал письма, а ими были меньше всего рабочие.

Почта в старом Нижнем Тагиле находилась близ базарной площади, в двух кварталах от здания заводууправления и господского дома Демидовых. Решетниковы вели достаточно многочисленные знакомства с демидовскими крепостными, хорошо знали всю подноготную непростых крепостнических отношений и видели, как чуть позднее говорил Мамин-Сибиряк, «постоянный дух протеста и взрывы дикой воли». Решетниковы даже породнились с коренной тагильской служительской семьей.

Ирина Васильевна Решетникова, не только тетка, но и, как говорилось, крестная мать будущего писателя, вышла замуж за Александра Васильевича Синицына. Род Синицыных стоял в одном ряду с самыми известными фамилиями «служительского класса» в Нижнем Тагиле: Шориных, Колногоровых, Худояровых, Боташевых и др. А. В. Синицын был «лекарским учеником», как именовали в ту пору тех, кто позднее получит название «фельдшер». Знания и должность лекаря передавалась по наследству. Так было и в семье Синицыных. Еще во время пятой переписи в 1797 году Тихон Синицын, дед Александра, будучи тридцати девяти лет, занимал этот пост. Очевидно, уже не одно десятилетие. Муж Ирины Решетниковой был внуком Тихона Синицына. Отец его, Василий Тихонович, также был «лекарским учеником». Выйдя замуж, внучка Пермского уездного казначея сама становилась крепостной. Вот еще одна ниточка связей с различными сословными группами Урала.

Лекарские ученики всегда находились между собственно верхушкой управительской знати, поскольку были нужны ей, и между больными, изработавшимися, надорвавшимися непосильной работой рабочими, которые попадали в заводскую больницу. Здесь шли разговоры о быте, о социальных отношениях, о мастерах и мастерстве, других сторонах рабочей жизни.

Ирина Васильевна сохраняла дружеские отношения с братом Василием до шестидесятых годов, бывая у него в гостях в Екатеринбурге, изредка переписываясь. Два ее сына (оба позднее те же фельдшеры), Федор и Всеволод, были всего на четыре-шесть лет старше Федора Михайловича. Надо полагать, что, пользуясь положением почтового человека, Василий Васильевич с племянником могли ездить в Нижний Тагил, не входя в расходы, и бывали в этой семье. В 1853 году В. В. Решетников почти год служил в Екатеринбурге старшим сортировщиком. Летом этого года Федор Михайлович жил в Екатеринбурге и, вероятно, бывал в Нижнем Тагиле и его окрестностях. Во всяком случае, как показывают его очерк «Осиновцы», повесть «Скрипач», да и романы, он детально знал планировку Нижнетагильского заводского поселка и внутренние отношения разных групп, населяющих его.

В истории рода Решетниковых, как видно, сплелись судьбы многих людей, в первую очередь «низкого звания»: почтальоны и государственные крестьяне, канцелярские служители и крепостные Демидовых, выполнявшие работы на заводе, и даже городской секретарь. Опыт социальных групп, окружавших писателя, был еще шире и включал множество самых различных определений. Принадлежность Решетникова-писателя к наинизжайшим низам несомненна. Но необходимо четко представить себе, что все же для познания мира трудового народа – крестьян и рабочих – писатель должен был, как и другие литераторы, не просто воспроизводить собственные своеглазные впечатления, но подходить как художник, готовый воспринять другого человека с его судьбой из-за внутреннего сродства и при помощи фантазии, воображения, всех творческих начал.

2

Как же сложилась судьба Федора Михайловича в ранние годы жизни? Обычно все повторяют слова Г. Успенского, что после свадьбы отец Федора Михайловича пил, семейная жизнь не ладилась. «Когда брат его с женой переехали в Пермь, мать Ф. М., которому было в ту пору около девяти месяцев, не выдержала тяжелой жизни и вскоре ушла за ними», – писал первый биограф писателя. Далее говорилось, что «в Пермь она пришла во время страшного пожара и так была этим напугана, что заболела и умерла». Девять месяцев ее сыну исполнилось в начале июня 1842 года. Громадный пожар в Перми, масштабы которого могли подействовать на здоровье и более крепких людей, чем она, был 14 сентября 1842 года. Устная легенда, которую сохранила память писателя, стянула в один узел события разного времени.

Все было и проще, и трагичнее. Двадцатого ноября Василий Васильевич получил назначение на должность станционного смотрителя в Полуденную, стоявшую на трактовой дороге Пермь – Казань, в пятидесяти верстах от Перми и 17 – от уездного города Оханска. Видимо, он и Мария

Алексеевна, его жена, не успели еще двинуться в путь, как 8 декабря Михаил Васильевич был совершенно уволен от должности. Надо полагать, что из-за пьянства и служебных проступков, связанных с ним.

Казенная квартира должна была быть сразу же освобождена. Семья Михаила вынуждена была двинуться в Пермь вслед за опекавшим ее старшим братом, а возможно, и в надежде пристроить Екатерину Тимофеевну с ребенком в семье ее отца.

Василий Васильевич Решетников в письмах, написанных в разное время и по разному поводу, всегда указывает, что взял Федора на воспитание сорока недель, то есть в начале июня, как говорил об этом и Г. Успенский. В повести «Между людьми» автор-повествователь вспоминает, что его, крохотного, приносили матери в больницу. Видимо, не только мать героя, но и Екатерина Тимофеевна была там и умерла. Смерть ее была ускорена и семейными неприятностями, а возможно, и потрясением от пожара города, когда сгорело триста домов. Больница стояла на краю Перми, и огонь до нее не дошел.

Василий Васильевич в это время жил в Полуденной. Небольшая почтовая станция селения, вставленного в раму хвойных лесов, тянувшихся до Камы, была оживленным местом. Должность станционного смотрителя была доходной. Получали ее, как правило, чиновники хотя бы четырнадцатого класса или особо отличившиеся по службе рядовые почтовые канцеляристы. Не обходилось дело и без взяток. Положение Василия Васильевича Решетникова было более сложным, чем пушкинского «почтовой станции диктатора», поскольку чина он не имел. Несколько спасал положение мундир с шитьем, но многим господам, проезжающим по казенной надобности, до него не было дела. Они требовали, грозили, козыряли связями и чинами. Часто жаловали ревизоры, которые ждали угодливости и низкопоклонства.

Младенчество будущего писателя прошло здесь, в круговерти приезжающих и отъезжающих, приходящих и уходящих почт, перепряжки коней.

Кажется, что ощущение «мир в дороге» запало в душу его с этой младенческой поры. Отец Федора жил где-то в другом месте. По служебному формуляру значился нигде не работающим до 1849 года. Только в 1849 году его имя встречается в «Формулярных списках», где он – почтальон в Оханске. В 1952 году его перевели в Красноуфимск. Как глухо говорится в повести «Между людьми», он все сороковые годы был писарем у знакомого станционного смотрителя. Должность эта не была штатной, но «диктаторы» почтовых станций брали себе в помощь «письменного» человека, поскольку приходилось оформлять много документов. Федор впервые увидел отца в 1851 году, когда ему было уже 10 лет. Сохранилось несколько писем Михаила Васильевича, полных жалоб на несчастную судьбу, эксплуатацию почтмейстером, на болезни. Он жалел, что «находился в почтовом ведомстве» Судя по записи самого Федора Михайловича на одном из писем отца, умер он 6 января 1853 года в Красноуфимске. Ему не было еще тридцати одного года, когда погиб он от соединенных усилий алкоголя и чахотки. Наследственность будущему писателю досталась тяжелая...

Станционным смотрителем В. В. Решетникову удалось продержаться только год. 1 декабря 1842 года он был от должности уволен, как сказано, «по прошению». В течение девяти долгих месяцев он нигде не служил.

Обычно такие перерывы бывали в том случае, если отставляли от службы с отдачей под суд. Зачисляли на государственную службу снова лишь оправданных по суду. Но дело тянулось долго. Только в августе 1843 года он получил должность подканцеляриста третьего разряда в Пермском уездном суде, где когда-то служил его отец.

Семья Решетниковых в дальнейшем жила в Перми и даже владела домом, не то купленным, не то наследственным, который был продан только в 1853 году. Дом был немаленький и приносил доход, так как часть его сдавалась внаем.

В 1848 году глава семьи возвратился на службу в почтовое ведомство, поступив рядовым почтальоном в Пермскую губернскую контору. Теперь жить пришлось в казенной квартире. Квартиры служащих располагались в трехэтажном здании самой почты, подаренном городу Демидовым, и в деревянных флигелях.

Г. Успенский считал, что горькие сетования Решетникова на жизнь, которую он вел в семье воспитателей, имеют основания. Предполагается, что решение взять сына умершей Екатерины Тимофеевны Решетниковой было вынужденным. Василий Васильевич позднее, желая довести до сознания вдовы писателя, сколько они с Марией Алексеевной сделали для покойного ее мужа, как-то особенно подчеркивал, что ни его жалование, ни другие капиталы не были столь значительными, чтобы лишний человек в семье оказался бы незаметным. Но он хотел лишь подчеркнуть значительность акта фактического усыновления, но не его неизбежность, неотвратимость для них. Теперь, когда мы знаем, что отец Екатерины Тимофеевны в год ее смерти был еще молодым, возникает вопрос, почему же не был взят младенец в эту семью, имеющую еще двух девочек чуть старше Федора? Возможны были также заботы крестной матери его и сестры отца, Ирины Васильевны, жалование мужа которой, составлявшее 250 рублей в год при выдаче хлеба натурой, было если и не очень большим, то достаточным для безбедной жизни небольшой семьи «лекарского ученика, состоящей из четырех человек. Нет, Василий Васильевич и Мария Алексеевна, не имеющие своих детей, взяли ребенка, чтобы была полнее семейная жизнь, и любили его, гордились на первых порах его хорошим развитием. Федор не был ни лишним, ни ненужным, а его воспитание не было докучной и тяжелой обязанностью.

Корни горького детства, на материале которого в значительной мере построена повесть «Между людьми», уходят глубоко в почву крепостнических отношений, которые влияли на весь быт, на все формы отношений между людьми, на начала семейной жизни, социальной педагогики. Предполагалось, что над младшим всегда должна была стоять воля старшего в семье, а ему оставалось безропотное и смиренное подчинение этой власти. Семья строилась по образцу общества, усваивая принципы, на которых это общество строилось и стояло. Окружающие Решетникова в детстве люди, вероятно, не преувеличивали, когда говорили, что редкий свой собственный ребенок пользуется такой любовью и вниманием, как Федор. Мария Алексеевна заботилась о нем, любила его.

Суровый приговор воспитателю Федора Михайловича, почтовому служаке с типично чиновничьим не улыбочивым лицом, вынес И. И. Векслер: своенравен, деспотичен, суров, обидчив, консервативен. Однако все эти определения не только не исчерпывают личности Василия Васильевича

Решетникова, но будут противоречить многому, что мы о нем узнаем, хотя бы из некоторых сохранившихся документов и переписки.

Своенравен? Но какое же своенравие в неукоснительном воспроизведении всех принятых средой жизненных представлений, норм поведения, философии жизни. Он отливался в готовые формы и гордился неуклонной прямой в исполнении предначертаний провидения и судьбы. Нет, своенравие – это другое, это стремление вопреки сложившимся представлениям и понятиям окружающих навязывать свое самодурное, личностное, не укладывающееся в рамки общепринятого. Безнаказанность своеволия коренилась в самоутверждении без оснований, в бесправии других. Ему же приходилось отстаивать свою независимость, свое право, но при величайшей боязни конфликта с начальством. Деспотичен? Отдельные вспышки грубой семейной власти в нем определялись не столько его собственным сложившимся характером, сколько нормами устоявшегося быта и не выходили за рамки принятого.

Суровость в человеке, тянущем трудовую лямку, на ограниченном содержании, вынужденном считать копейку, тоже можно понять. Жалование почтальона было около 4 рублей в месяц, сортировщика – 7. Даже становясь почтмейстером, он мог претендовать только на 14–20 рублей. В то же время, уездный судья, занимающий в сущности равную по значению должность, вознаграждался в три раза лучше. Правда, у почтовых людей была бесплатная квартира с отоплением, бесплатное обмундирование. Они получали кое-какие приношения от поверенных заводов, купцов, содержателей вольных почт, но и при этом несправедливость очень оскорбляла В. В. Решетникова и откладывалась обидой.

В апреле 1853 года В. В. Решетников при Пермской гимназии выдержал экзамен на первый классный чин. Экзамены сдавались по многим предметам. Кроме обязательного, во всех учебных заведениях Закона Божьего и церковной истории, надо было освоить «русский язык, включая высшую часть грамматики», знать «историю российскую и всеобщую», хотя и в сокращении, как сказано в программе. Требовались знания «арифметики с главными основаниями геометрии, включая стереометрию». Надо было блеснуть чистописанием и обнаружить «элементарные познания в черчении». Сдавая экзамены, даже с помощью укоренившихся тогда «приношений», все же надо было знать не так мало. Беда была в другом: у него не было внутренней потребности в понимании мира, и знания эти оставались лишь формальным пропуском «наверх» и показателем принадлежности к чиновничеству, как шляпка на голове Марии Алексеевны. Только в 1858 году желанный чин коллежского регистратора Василием Васильевичем был получен. Ждать пришлось долго, так как в стаж не засчитывалась служба по другому ведомству. Следующий чин губернского секретаря был получен уже только в 1862 году. Следует еще добавить, что он, покорно подчиняясь системе подкупа нужных людей, сам не терпел лихоимства, презирал судейских, готовых за мзду несправедливо решить дело, предупреждал племянника, чтобы тот не уподоблялся чиновникам, которые не думают о деле, забывая, что за ними стоят люди. Не будем забывать, что он нес в себе громадный и значимый опыт двадцатилетнего пребывания в рабочей среде Нижнего Тагила. Опыт не только детский. Когда Василий Васильевич перешел на службу в Екатеринбург, ему было уже двадцать два года. *Потому-то так причудливо совмещались в нем консерватизм и такое по-*

нимание социальной несправедливости, остро ощущавшееся рабочими и столь же остро выражавшееся в свободных суждениях, которыми они делились друг с другом, в сатирических стихах и песнях.

В одном из писем Василий Васильевич предлагает: «Вспомни слова и заботы безрассудного дяди твоего, который при твоих глазах как неусыпная червь трудился». Безусловно, он и заботился о Федоре, и слов тратил достаточно много, чтобы его воспитать. Видимо, не во всех поучениях дяди была заключена только жесткая «житейская мудрость»...

Хорошее знание внутренних отношений заводского населения, которое так ярко проявится позднее в творчестве Решетникова, надо полагать, складывалось не без участия дяди. Скупой на слова, он все же не мог дома не делиться толками и слухами, этой устной летописью времени и той среды, о которой идет речь. Факты жизни здесь неизбежно интерпретировались по-своему, и оценки их столь же неизбежно черпались из всей суммы опыта, в том числе и Тагильского. Василий Васильевич, несомненно, участвовал в рабочих вечеринках, гуляниях, праздниках, и он не мог вращаться только в среде почтальонов, хотя бы потому, что оба штатных почтальонских места в Нижнем Тагиле были заняты братьями Решетниковыми, когда они были юношами. Знание горнозаводского фольклора, которое обнаружится в творчестве писателя, пришло, видимо, тоже не без помощи дяди, не чуждого искусству. Он играл на скрипке и пел популярные песни, в том числе народные.

Не был он, судя по многим данным, ни корыстным, ни прижимистым, ни стяжателем. Человек оказывался для него дороже и стоял впереди всего другого. Он стремился помочь и находил возможность это сделать. Как-то напомнил он племяннику и то, что даже отца его, а своего брата, взял на свое попечение. Михаил остался от отца одиннадцати лет. В. В. Решетников в 1834 – 1836 годах жил в Нижнем Тагиле, поддерживая семью и воспитывая брата.

Заботливо опекал он и старшего брата Алексея, который в шестидесятые годы, едва достигший пятидесяти лет, нигде не работал и опустился. Так, Василий Васильевич отказался в его пользу от небольшого наследства дяди, Якова Васильевича Решетникова, жившего одиноким в Оханске. В письме к Федору Михайловичу о его действиях в отношении беспутного брата рассказано почти в эпических тонах. Он повествует, как Алексей с женой отправились пешком из Нижнего Тагила в Оханск за получением наследства стоимостью в пятьдесят рублей и зашли по пути в Соликамск. «...Взяли посох в руки и пошли примерно, так сказать, как в XI веке ходили христиане в святой город Ерусалим, босые и с открытыми головами, – продолжает он. – Видя их странствие, из сострадания к человечеству и по родству крови и любви к ближнему, я и жена моя сняли с себя платье, равно и обувь, облекли их, наделив их деньгами и на свой счет отправили в Оханск». За «чужими» формулами дум о другом светится простая трудовая любовь к человеку. Он пригласил также своего племянника Константина, который явился в Екатеринбург «наг и бос». Этот Константин не был обучен даже элементарной грамоте, что позволяло Василию Васильевичу указывать на его судьбу как пример истинного несчастья. Только стараниями дяди Константин сумел приписаться к обществу мещан Екатеринбурга, «снискивая пропитание» трудом простого рабочего. Все это не отдельные эпизоды. В другом письме Василий Васильевич

спрашивает Федора Михайловича о каком-то старом тулупчике, который он тоже хочет отдать Алексею. Настоящая нищета жила где-то рядом, захватывала родных, напоминала о судьбе и вызывала желание помочь. В мире, где все против всех, в круге людей, где нет мысли о родовом имении или капитале, прочные родственные связи не были обычным делом. Здесь В. В. Решетников подымался над своей средой. В душе его жила доброта, заинтересованность в человеке, простом, страждущем, доброта, не знающая осторожных вопросов: кто в этом бедствии человека виноват, кому за это отвечать? Он просто шел помогать. Неверное, что-то перешло к Решетникову от этого внимания к человеку, от ненаигранного, естественно-го демократизма дяди, порой нарушавшего принцип старшинства и зависимости в своем общении с окружающими. Федор Михайлович отмечал также его добродушие. Все это уживалось и с битьем, и с лупкой, но такая была педагогика. По этому поводу Федор Михайлович еще раз сказал в 1864 году: «...Дядя! Я люблю тебя, хотя ты и бил меня понапрасно, по капризу; драл ты меня».

Н. Новокрещенных, хорошо знавший Ф. М. Решетникова, в воспоминаниях о нем уверенно писал: «Дядя воспитывал Решетникова как сына. Решетников был предан дяде, дрался с почтальонами за наносимые дяде оскорбления. Драли в этом быту всех детей. Каждый мальчик был озорник. За тычками мы не гонялись».

Тетка хотела ему добра. И Василий Васильевич пытался «выправить» из него честного служаку, как все, имеющего твердые жизненные принципы, верящего в Провидение, Неизбежность, Случай. Бог фигурировал в этом случае реже. Заботясь о воспитании осиротевшей Маши Решетниковой – это будет уже после 1871 года, – он требует больше всего не сделать из нее ханжу. Это не значит, что В. В. Решетников был безрелигиозным человеком, но для него вопросы веры были чисто бытовыми: как у всех, как всегда, как повелось – и только.

Но принципы социальной педагогики сталкивались с таким человеческим материалом, который упорно не хотел безропотно и смиренно отливаться в уготованные ему формы. Этот бойкий мальчик с очень большим правом мог бы сказать словами поэта нашего времени:

Я с детства не любил овал,
Я с детства угол рисовал.

В повести «Между людьми» есть много фактов, свидетельствующих об ее автобиографичности, хотя и далеко не полной. Но надо думать, что анализ детской психологии Решетников ведет, опираясь на припоминания собственных ранних лет жизни. Кроме того, в отдельных линиях поведения ребенка, о котором говорится в повести, в некоторых состояниях его, зафиксированных писателем, можно обнаружить черты художнического дарования писателя, психологические основы этого дара и его особенностей.

С самых ранних лет он стремился к игре, что вообще свойственно каждому ребенку. Но в рассказе об играх мы замечаем два обстоятельства: открытость души другим, стремление жить действиями вместе с кем-то, настойчивое стремление воспроизводить живые формы самой жизни. В игре он чувствовал начало равенства людей, отношения их, отсутствие подчиненности. В игре он ожидал разнообразия, которое дается встречей

с новым, его познанием. Герой повести говорит: «Я любил все, что только впервые попадало мне на глаза». Видимо, тогда и начинала оттачиваться и феноменальная наблюдательность писателя, игра воображения, фантазия, способность строить мир, оказывающийся, как у настоящего крупного художника, поражающе верным сути жизни.

Но душевная открытость мальчика принималась за отступление от правил: покоряться, уважать, слушаться, исполнять, чувствовать волю и руку другого. И в этом столкновении рождалось недоверие к людям. Открывалось в них нечто, постоянно враждебное человеку. Отсюда росло дерзкое желание поступить не так, как требуют, не так, как полагается. Дерзость переходила в злые шутки, утверждавшие независимость и свободу человека и в то же время исключавшие открытость и доверие, которые где-то глубоко в душе по-прежнему оставались ценностями.

Он горько ощущал сиротство. Не потому, что у него не было матери, а об отце он ничего не знал. Не потому, что его не любили, а потому, что его любили не так, как стремилось чувствовать его сердце. Грубый окрик, колотушки, дранье ремнем – все было рассчитано на то, чтобы «выбить дурь из головы», чтобы ребенок «не забывался». Для воспитывающих во всех этих вещах не заключалось ожесточения, не проявлялось недостатка любви. И стороны жили, не понимая друг друга. То, что доставляет боль или оскорбляет, для Решетникова было прямым выражением насилия, угнетения, вызывало обиду, вражду, гнев, тогда как сердце ждало ласки и теплых родительских объятий. Он стремился к людям, активная его натура искала поля деятельности, отношений равенства, а не слепого подчинения, что и давало бы радость. Воспитатели же видели в этом опасные начала своеволия и старались, чтобы их гнет был бы еще более ощутим. И все из-за любви к нему и неспособности выйти за рамки устоявшейся педагогики среды. В любознательности, выводящей за пределы учебного предмета, им виделось что-то возмущающее привычный ход жизни. Стремление к знанию – сейчас, немедленно – казалось нарушением принципа «Терпи и ожидай». Так, все действия и связанные с ним чувства мальчика рассматривались воспитателями и окружающими их иначе, чем на самом деле чувствовал он. Все это вместе с низкой общей культурой не позволяло увидеть истинные достоинства воспитанника. Оскорбленное чувство мальчика перерабатывалось в зло, что объясняет многое в буйном поведении «горького дитя». Но, ведя войну, он продолжал тянуться к людям, ждать от них чего-то, не ожесточался в глубине души, жаждущей счастья.

«Меня спасло то, что в моем маленьком зверушечьем сердце, помимо ощущения тяжести перенесенного, было уже зерно жалости, жалостливой тоски не о моем горе, а о каком-то чужом горе и беде». Эти слова, написанные Г. Успенским, созвучны чувствам Решетникова.

Вначале круг сверстников был ограниченным: девочки и мальчики Аалыкины, со старшим из которых, Евгением, его связала прочная дружба, продолжавшаяся и позднее. Во дворе собственного дома, где жили до 1848 года, он рос вместе с Ольгой Матвеевой, которая первой разбудит сердце Федора, когда он после перерыва вернется в Пермь. Двор представлял широкие возможности игры в своей компании, но не давал возможности выйти в мир мальчишеских отношений шире и полнее. Переход на казенную квартиру сразу же выводил ребенка в достаточно большой круг мальчишек и девчонок, в сложные взаимоотношения тех, кто постар-

ше и посильнее, и тех, кто помладше. Двор был открытым. Отсюда вели дороги на берег Камы.

Почтовая контора и Кама были первыми народными университетами Решетникова. Впрочем, к народному голосу, мотивам тоски и горя или буйства и радости приобщался он через песни, которые любил дядя, а к миру неистощимой народной фантазии и многих представлений о добре и зле, о героике и мягкой ласковости – через сказки. Ввели его в этот мир бабушка Марфа Алалыкина, которая Федора любила больше своих родных внуков.

Едва научившись писать, Федор Михайлович, к удовольствию дяди, легко стал овладевать азами почтового устава и практики почтовой службы. Но не только ими. Пропадая в почтовой конторе часами, он стал помогать крестьянам, бурлакам, мещанам оформлять отправления, а вскоре и наловчился сочинять письма, вполне удовлетворяющие традиционные представления простого человека о письме и вместе с тем имеющие неоспоримое преимущество в простоте их слога, передающего тон беседующего человека. Из-за готовых формул и бесконечных поклонов Решетников старался вытянуть рассказ о том, что действительно волнует крестьянина, готового отослать письмо на родину, и встречался таким образом с правдой самой жизни, увиденной участниками ее процесса, там, внизу, в народе.

Знакомился он таким образом и с бурлаками, и многоголосый гул народной жизни становился ему все понятнее и понятнее.

3

В 1850 году Федор Решетников был отдан в приходскую школу, которая в Перми размещалась в одном доме с уездным училищем.

По уставу 1828 года она была трехгодичной. Здесь изучался Закон Божий, учили чтению и письму, уделяли много времени чистописанию, проходили четыре действия арифметики. Учили по-старому, добиваясь успехов доступными средствами: в угол, розги, без обеда. Директор пермских училищ И. Ф. Грацианский сокрушался, докладывая по начальству, что «в занятиях учеников проглядывает какая-то неохота и холодность», правильно видел источник такого отношения учащихся в «несовершенных способах, которыми нередко преподается юношам».

Домашняя педагогика терпения и упования на судьбу и Бога дополнялась в школе обличением «безверия, неповиновения и безначалия, которые испытала Европа в последнее время». Автор записки, вышедшей из недр Министерства просвещения, имел в виду события революции 1848 года.

Он требовал, чтобы детям указывалось «действие перста божьего, невидимо ведущего человека к предназначенной ему цели».

Г. Успенский, следуя показаниям повести «Между людьми», говорил об обучении Решетникова в «бурсе», то есть духовном училище. Но никакими документами или хотя бы косвенными свидетельствами это не подтверждается. В планах Василия Васильевича мыслей о духовной карьере мальчика не было. Приходская школа при Уездном училище позволяла проще перейти затем в его основные классы. Как учился в приходской школе будущий писатель, мы не знаем, никаких свидетельств об этом не осталось.

С 1853 года он ученик Пермского уездного училища. Но это уже не то училище, которое, скажем, в Чембаре окончил В. Г. Белинский и откуда от-

крывался путь в университет. Уездное училище пятидесятых годов действовало на основе устава 1828 года, устава, резко сократившего его права. Отныне уездное училище сразу отделяло своих воспитанников от тех «благородных», которые получали образование в гимназии. Возможность перехода из одного типа учебных заведений в другой совершенно не предусматривалась. Консервативная политика Николая I, рассчитанная на «подмораживание» демократического развития страны, нашла здесь яркое выражение.

Курс обучения был рассчитан на трехлетний срок. Программа его, единая для всех типов подобных учебных заведений, кроме частных, какими в Пермской губернии были училища в Пожевском заводе Всеволожских, Нижнем Тагиле Демидовых и некоторых других, оказывалась достаточно насыщенной. Кроме обязательного Закона Божьего, изучался «русский язык с высшей частью грамматики», арифметика с геометрией, проходили историю и географию, получали навыки чистописания и черчения.

Что касается методики, то ее характер лучше всего выражен лаконичной записью Решетникова в материалах к повести «Между людьми»: «Училище, ничего не понимал. Бестолковое учение; розги».

Самое странное, что состав учителей не был уж таким безнадежно плохим и ретроградным. Так, русский язык преподавал Николай Александрович Залежский, окончивший Пермскую гимназию, где брат его был учителем математики. Молодой человек 24 лет, близкий в дальнейшем к прогрессивным губернским кругам, он только начинал свою учебную карьеру. Географии и истории обучал А. Садовников, проходивший курс в Главном педагогическом институте, математике – Б. Протопопов, тоже образованный человек.

Система обучения была сильнее отдельных учителей, в ней отражались интересы крепостнического общества, его представления о типе личности, необходимой для жизни в той среде, которая готовит канцелярских служащих: она должна быть инертной, послушной, покорной, не иметь своих суждений, держаться не смысла, а буквы как закона, так и каждого печатного или письменного слова. Выработке такого «немыслящего человека» была подчинена педагогика, столь возмущавшая Н. А. Добролюбова. Она была единой, эта воспитательная система, что на Урале, то и в центре. Революционный демократ по мере сил преследовал в печати проявление педагогического консерватизма. В рецензии на книгу Н. А. Миллера-Красовского «Основные законы воспитания» (СПб., 1859) он писал, что главная задача воспитания для автора – подавить волю и заглушить сознание своих человеческих прав. «Бедные дети! – восклицал критик. – Что-то выйдет из вас, когда к вам прилагается постоянно такая система воспитания». Как идеал воспитанного человека превозносился покорный, терпеливый, угодливый. Писалось это в наставлении Е. Дыммана «Наука жизни, или Как молодому человеку жить на свете» (СПб, 1859).

Эту систему не принимал упрямый Решетников. У него, подобно Карасю в «Очерках бursы» Н. Г. Помяловского, в душе «относительно местной науки укоренился ноль».

Г. Деятов в статье «К биографии Ф. М. Решетникова» говорит, что видел классный журнал второго класса за 1855/56 учебный год. По русскому языку у Решетникова стоят одни единицы, изредка перемежающиеся двойками, и лишь в окончательном выводе значится тройка. Была какая-то апатия, отсутствие интереса к занятиям, был протест против бессмысленного зазубривания. Натура Решетникова, не признававшего устоявшихся овалов жизни, сказывалась и в этом.

Дядя пытался приохотить его к занятиям собственными мерами. В одном из писем к Федору Михайловичу он вспоминал, как заинтересовывал его учением, играя с ним в карты на бабки, нарочно проигрывал, но требуя в обмен хороших успехов. Наивный подход доброго и недалекого человека!

Живость и подвижность натуры Федора Михайловича, которыми он отличался до десяти лет, как пишет Девятков, ко времени поступления в училище уже исчезла. «От прежнего сохранились только бойкие и живые, иногда замечательно выразительные глаза, которые как-то странно блестели на угрюмом и бледном, скуластом, инородческого типа лице будущего писателя». Знавшие его тогда говорили, что он выглядел букой. Но он не был, как выяснилось вскоре, ни одиноким в училище, ни чуждым шалостей и выдумок, которыми грешили другие ученики.

В 1855 году разразилась катастрофа, которая круто переменяла характер Федора Михайловича. Четвертого апреля он был допрошен при полиции по поводу кражи пакетов, газет и журналов из помещения почтовой конторы. Несколько бумаг, адресованных в Дедполинское правление соляного промысла, оказались найденными на соседнем с почтой огороде чиновницы Мутьянской. Так как за Решетниковым кое-кто из почтальонов замечал и раньше повышенный интерес к пакетам, то подозрение пало на него. Он сознался. Дело пошло своей дорогой, медленной и страшной этой медлительностью, равнодушием к человеку. Были обысканы квартиры нескольких учеников, наиболее близких с «преступником», и у Ломтева найдены многие журналы, старые газеты, а также несколько писем, заинтересовавших полицию.

Они были обычными мальчишками. Ломтев писал Федору Решетникову на языке офень, торговцев вразнос. Чтобы переговариваться между собой при покупателях на офенском языке, в обычные слова вставляли дополнительные слоги, которые не мешали знающему человеку выделить только нужное. Михаил Ломтев писал: «Дазай мнезо тозовозе, чтозо яза позопрозошузу у тебезеязе, твозой друзуг», что означало всего только: «Дай мне того, что я попрошу у тебя, твой друг».

В этом же письме озадачили следователей и попытка находить рифмы, и использование фрагментов народных присловий: «бей, бей, не робей, робей, робей, всех перебей, будет воробей».

Среди товарищей его названы также Иван Николаев и Николай Дерябин. В переписке их проявлялся интерес к театральной жизни, даже к тому, как поступают в актеры.

Поскольку принадлежащие к почтовому ведомству подлежали его суду, дело было направлено в почтовый департамент, откуда пришел ответ, что Федор Решетников к нему не относится. Дети лиц, пришедших из других сословий, в состав почтовых людей не зачислялись. Дети же почтальонов из почтальонских детей сами с ранних лет числились за ведомством. Тридцатого августа Пермская губернская почтовая контора просила рассмотреть это дело Городской совестный суд, который отозвался так, что ему неизвестно, почему Федор Решетников не принадлежит к почтовому ведомству, не указана также сумма хищения и возраст похитителя. Наконец, 14 декабря на совместном заседании Уездного суда и Городового магистрата дело было, казалось, решено окончательно. Приговор гласил: «Федора Михайлова Решетникова 13 1/2 лет... подвергнуть исправительному домашнему по распоряжению воспитателя его взысканию». Видимо, столь простое решение дела восставляло будущего писателя и в Уездном училище.

Но дело в порядке надзора перешло в Палату уголовного и гражданского суда, который 22 мая 1856 года вынес новое определение, напомнив, что за подобные преступления по закону следует «лишение всех особенных лично и по происхождению присвоенных прав и ссылка на житье в Сибирь»; он принял во внимание несовершеннолетие подсудимого и заменил все трехмесячным заключением в монастырь. Второго июля приговор утвердил губернатор. Двадцать третьего июля с решением подсудимый был ознакомлен. Окончательно же, видимо после истечения сроков обжалования, приговор официально был объявлен 8 октября. Двадцать второго ноября (еще почти два месяца прошло!) Губернское правление предлагает Судебной палате осуществить приговор. 4 декабря бумага идет в Консисторию на предмет определения, в какой же монастырь послать виноватого. 10 декабря ему назначено быть в Соликамске, куда он был отослан с помощником губернского почтмейстера И. И. Заниным, о чем Федор Михайлович вспоминал позднее. В монастырь он прибыл 23 декабря.

Подумать только, какие страдания вынес Решетников и от сознания вины, особенно перед близкими, которых он поставил в такое сложное положение, и от ожидания приговора, и от неожиданной отмены первого, и новых тягостных предчувствий о неизбежности более строгого решения. Все это действовало на душу подростка и в сильной степени перевернуло его характер, заставив активно работать анализирующую мысль, обязанную заниматься теперь не школьными премудростями, а разбираться в сложностях самой жизни.

Сам Федор Михайлович не мог удовлетворительно объяснить, почему он таскал пакеты, газеты и журналы. Играл роль азарт. Азарт делать не так, как все почтовики, трясущиеся над корреспонденцией. Играла роль страсть рисовать углы, когда другие рисовали овалы. Был в этом какой-то вызов обычному течению жизни, покойной, размеренной. Играло роль также чувство могущества: может дать кому-то газету, кому-то отправит письмо, кому-то удружит и даст журнал с картинками. Так или не так, но все это завершало период детского озорства, которым отплачивалось и невнимание к себе, и недостаток тонкой любви, и какое-то озлобление на всех при тоскливом ожидании иных отношений.

В Соликамском мужском монастыре, имевшем 75 монахов и около полутора сотен послушников, Решетников проходил наложенный на него искус, посещая богослужения. Он пел и на клиросе, голос его нравился, и он, как сам выразился, «снискивал любовь монашествующих». Жил же он на квартире у Петра Алексеевича Алалыкина, брата Марии Алексеевны, уездного почтмейстера, человека начитанного, хотя и склонного к проповеди религиозно-нравственной философии в формах тяжелой семинарской элоквенции. Этот дядя любил Федора, часто писал к нему. Даже позднее, находясь в Петербурге, Федор Михайлович советовался с ним по поводу некоторых тем для выступления в газетах. Здесь же жила бабушка, мать Марии Алексеевны, Марфа Алалыкина, с особой нежностью относившаяся к Федюшке, как она звала мальчика. Она обладала живым, выразительным языком, который отразился в цитированных Петром Алексеевичем словах его матери. На фоне затрудненной, пышной, с претензией на глубокомыслие и содержательность речи сына с особой силой чувствуется родство ее слов с прямой и точной, а вместе своеобразно красочной речью народа: она бросит слова «лукавый его возьми», назовет далекий ей Екатеринбург «кержацкой стороной», скажет о характере внука «такой же по ним уродился». Думаю, что жизнь в этой семье определила содержание времени, проведенного в «исправлении».

Какие-то нелады с женой Алалыкина, Екатериной Алексеевной, у него были, и они вызвали сразу же со стороны дяди Решетникова готовность перевести его «на хлебы» к эконому монастыря, очевидно, тоже знакомому. Но он так и прожил все время в доме Алалыкина. Дядя сначала подумывал, нельзя ли посещать училище в Соликамске, но соединить покаяние и обучение оказалось невозможным. Живя в Соликамске, Федор Михайлович все время получает поддержку от дяди и тети, живущих в Перми. Они пишут ему письма, посылают чай и сахар, рубашки, заботятся о смене белья. Встречаются, естественно, и поучения. Василий Васильевич хочет использовать наказанную провинность Федора для того, чтобы внушить мысль, сколь необходимо учиться, чтобы не попасть в податное сословие, не опуститься.

Узнав, что племянник покупает помаду, ходит на свадьбы, он еще раз напоминает о необходимости добронравного поведения, заставляя проникнуться сознанием вины, запятнавшей доброе имя. Тон всех писем родственный, в них нет раздражения, а только желание добра. Никаких поучений религиозного характера, хотя это было бы и естественно по ситуации, ни в одном письме дяди мы не встретим. Биографы порой ставят ему в вину «неблагородное» напоминание проступка, и так измучившего мальчика, но, право, то, что говорит дядя, находится в пределах самой гуманной педагогики.

Г. Успенский, анализируя не дошедшие до нас страницы дневника Федора Михайловича, который он начал вести вскоре по возвращении из монастыря, пришел к выводу, что монастырь в сильной степени извратил понятия Решетникова о жизни и истинных ценностях, привил ему ханжеское мировоззрение. На основе приведенных биографом отдельных цитат можно подумать, что Г. Успенский прав. Но нельзя не считать, что для человека, который уже задумывается над литературным освоением жизни, над художественным ее осознанием, дневник – не только бытовой документ, позволяющий фиксировать события, состояния, дать себе отчет в самодвижении личности. Он неизбежно будет одновременно фактом литературы в той мере, в какой собственно дневниковые задачи дополняются литературными. Дневник – не стенограмма личности. В нем могут быть отражены ее поиски, в том числе и поиски литературных форм, речевых образцов. Попробуем, памятуя это, прочесть те отрывки дневника, которые дошли до нас и позволяют взглянуть на «влияния» трех месяцев монастырской жизни.

Прежде всего, обращаешь невольно внимание на абсолютную нецельность личности, которая встает из-за страниц дневника. Когда же при этом припоминаешь и такие факты, которые в дневнике не означены, но были, то они еще более усложняют дело.

С одной стороны, встречается смиренная фраза: «имел величайшее хотение, чтобы мне остаться в монастыре», подкрепленная письмом к настоятелю. С другой же стороны, встречается иная оценка монастыря и монахов. Мы узнаем, что Решетников «чудно и весело проводил время с монахами», что «часто приходил домой пьяным», что «очень весело провел время с братиею»; все дополняется осуждением подобного образа жизни: «...В Соликамске я в одну неделю познал нечестие монахов, как они пьют вино, ругаются, едят говядину, ходят по ночам, ломают ворота», «делают разные непристойности». И здесь мысль не останавливается. Идет жанровая сценка веселого потчевания и ерофеичем, и простой водкой на похоронах матери станового пристава. И вдруг все эти выразительные штрихи монастырского житья, несомненно, реальные, освещенные традициями народных

сказок о монахах, народных песен, высмеивающих монашествующих с их лицемерием и страстями, сменяются действительно ханжеским причитанием: «Мрачно и печально, что я разлучаюсь с моими друзьями и с истинными христианами...». Да где же они, эти истинные христиане? В чем состоит оно, это христианство? Нет, монастырь не внушил Решетникову ни религиозного воззрения на мир, ни высокого мнения о «нескверном житии». Юноша противоречит себе даже в фактах, о которых говорит. Только что сказав, что кроме пива ничего за все время пребывания не пил, он, не смущаясь, скажет и о выпивке на похоронах, да и свадебные гостевания тоже, видимо, не предполагали трезвенности.

Вернемся к тому, как рисуется сама жизнь Решетникова в монастыре. Живет он, как говорилось, в доме одного из гражданских «отцов города». Сын его окончил гимназию, дочери – невесты, за поведением Федора все присматривают. Можно ли предположить, что он пьяный возвращается из монастыря и на это никто не обращает внимание? В городе, где всего две тысячи жителей, где все на виду, осуждение дурного поведения юноши падало бы и на дом Алалыкина. Нет, что-то не то говорит Решетников в дневнике.

Не попробовать ли, в самом деле, зайти к нему с другой стороны. Не есть ли все дальнейшие религиозно-ханжеские фразы, вроде призывов «Боже, даждь терпения мне во дни скорби моя, да не погибнет душа моя» или «печально мне смотреть на братию мою, учащуюся со мной»; все наполнены хитрости, обмана и богохульства, лишь обращением к стилистике сложившихся форм оценки жизни, готовых, приподнятых, как будто способных перевести бытовые факты в некую общезначимую систему отношения к жизни. Думается, что это так и есть. Сколько-нибудь глубокой религиозности после монастыря у него не сложилось.

Освоение стилистики, образности, лексики и даже риторики, в целом сформированных церковными книгами, тоже оказалось скоро преходящим. Но опыт этот был для Решетникова важен.

До сих пор, до наступления юношеского возраста, отдельные факты жизни, столкновений с людьми, собственных безобразий, чужих чувств – все размещалось в плоскости, следуя друг за другом во времени, без ощутимых закономерных связей, как явления быта, не имеющие иного смысла, кроме того, который лежит на поверхности.

Теперь он глухо ощущает, что все кванты жизни имеют или должны иметь внутренний смысл, нечто более высокое, чем то, что в них выражено непосредственно. Одно дело, если он просто жалуется, что тетка его, как кажется, не любит и ругает. Совершенно другое, когда, рассказав об этом, он добавляет: «Спаси мя и тетку, обидящих нас спаси». Факт жизни выводится на некий широкий горизонт. Видимо, таким был первый шаг будущего писателя к литературному делу.

Двадцать третьего марта 1857 года П. А. Алалыкин отправляет Федора, закончившего покаяние в монастыре, к дяде и тетке в Пермь. С 15 апреля 1857 года он приступил к занятиям в училище, будучи зачисленным на тот самый второй класс, из которого был отчислен ровно два года назад. Два года были убиты в смысле широкого развития.

В уездном училище произошли некоторые благотворные перемены. Вместо старых педагогов появились молодые учителя, которые придавали значение умственному развитию учащихся, выработке в них достаточно свободных суждений и твердых нравственных принципов.

Среди наставников следует особенно отметить совсем молодого, двадцатичетырехлетнего, Николая Александровича Залежского, окончившего Пермскую мужскую гимназию и преподававшего русский язык. На уроках этого учителя Решетников стал иным. Г. Девятков пишет, что, «по возвращении из монастырской ссылки Ф. М. учился хорошо». Особых успехов он добивался в своих сочинениях на заданную учителем тему. «Все, в том числе лучшие ученики,— говорит он,— кое-как набрасают его на четвертушке бумаги; а Федор Михайлович представит целую диссертацию на 5–6 листах писчей бумаги, исписанной мельчайшим почерком... Зададут сочинение сегодня, завтра к утру оно у него уже готово». Упомянувшие Решетникова в разговорах с Девятовым после монастыря видели в нем большие перемены: он стал мягче, приветливее к окружающим, хотя в то же время «более замкнутым и сосредоточенным».

Сам Решетников в письме к дяде 31 мая 1860 года говорил, что перемены в его поведении и сознании были большими: «Во время учения в 1857 году я стал нападать на книги, стал учиться писать — и в последний год ученья своего сочинениями отличался над прочими своими товарищами». В конечном счете внешние события жизни заставили задуматься не только о последствиях поступков, но и об органической связи их с личностью в целом. В том же письме он говорит так: «Этот переворот удержал меня на краю душевной гибели и, короче сказать, заградил путь к невежеству и сделал меня человека разумного». Беспечный ученик, выдумщик, шалун, изобретательный в неприятностях других, удовлетворившийся навеки единицей, теперь стал *Homo sapiens*, как на латинском языке звучит его собственная формулировка новой ступеньки развития.

Как видно, ни по наблюдениям окружающих, ни по автохарактеристикам нравственного, духовного состояния своего, в это время о религиозности как хоть сколько-нибудь цельном воззрении на жизнь речи не идет. Дома религиозная экзальтация, даже если бы она и обнаружилась, встретила решительное противодействие В. В. Решетникова. Веря в провидение и судьбу, он вместе с тем нес в себе и частицу протеста против религиозного ханжества, что не мешало употреблять в переписке стертые формулы религиозных толкований непокорности Богу, за которыми просто стоял опыт «подчиненного» человека, чувствовавшего зависимость. В более позднем письме к С. С. Решетниковой, вдове писателя, он будет требовать, чтобы дочь Федора, маленькая Мария, воспитывалась не ханжой.

С Николаем Александровичем Залежским в училище у Федора Михайловича установились отношения доверия, чему способствовали добрые отзывы учителя о сочинениях ученика. Именно поэтому он и просил в декабре 1899 года К. Колотинского, еще продолжавшего учиться в Пермском училище, узнать у учителя, выйдут ли второй и третий «Пермские сборники», и получил ответ, что о судьбе издания сказать трудно, но что Залежский поддерживал стремление бывшего ученика к писательству. Залежский, брат которого, Андрей Александрович, инспектор гимназии, открыл в то время частную библиотеку, был достаточно близок и к другим интеллигентным группам в Перми, в том числе и к таким организаторам издания «Пермского сборника», как Н. Фирсов или Д. Смышляев. В следующем году, видимо из-за рутины в Уездном училище, Н. А. Залежский перейдет в Казенную палату чиновником.

Сам Федор Михайлович так нуждался в добром совете, поддержке, что общие пожелания, чтобы он учился, больше знал, его не удовлетворяли.

Он пробовал писать, уже сознавая, что занимается тем, что называют художественной литературой. Из-под его пера пока выходили проповеди, даже молитвы, образец которой сохранился в Дневнике. Все это было пронизано мыслью увидеть простую жизнь, свою, окружающих мужчин, женщин через какие-то общие значения и смыслы. Во всем этом не было сердечной веры, не было сознания, что именно в псалмах или евангельских текстах, акафистах или тропарях и заключена сама истина. Но ощущение необходимости перечувствовать окружающее большим сердцем, привязанным к каким-то общим ценностям, вело его этим неверным путем. Воспитатели не принимали подобного творчества, правильно видя в нем не только выражение покорности церкви (с этим они и сами считались), но – и это главное – своеволие мысли, так быстро и свободно прокладывающей мосточки от факта к абсолютно-му или хотя бы широкому смыслу.

В те же два года была испробована и другая поэтическая система, которая могла бы также вести от обычной жизни к ее общезначимым смыслам. Решетников пробует свои силы в жанре высокой оды. Это был естественный шаг от исключительно религиозной высокой стилистики к стилистике уже собственно литературной, хотя и в самом дурном ее изводе – семинарских виршей.

Видимо, уже в Екатеринбурге будут использованы формы народной или литературной песни. В образце такой песни, сохранившейся в архиве писателя, легко заметить попытку повторить дневниковые жалобы на ругань тетки, на непонимание ею желаний и стремлений племянника, упреки ее.

Введенные в песенную лирическую стихию, эти жалобы, сами по себе прозаичные и очень уж конкретные, приобретали видимость значительного художественного понимания действительности. Трудными путями двигалось формирование Решетникова-литератора. Еще целая бездна отделяла его от взлета таланта, который найдет свои пути позднее.

После почти пятилетнего ожидания Василий Васильевич Решетников получил наконец в 1858 году классный чин коллежского регистратора. Он становился чиновником. Самолюбие будет теперь – так ему кажется – меньше оскорбляться. Он может стать почтмейстером. Но прошло еще несколько месяцев, пока ему было подыскано место помощника почтмейстера почтовой конторы первого класса (равной губернской) в Екатеринбурге. 7 марта состоялось определение о его назначении, а в начале апреля Решетниковы отправились в Екатеринбург, оставив Федора Михайловича в Перми, на частной квартире мещанина Кашинина. Он впервые получил свободу действовать не по указке родных, хотя бы и желающих ему пользы, он мог почувствовать себя человеком, на которого вне школы не может обрушиться ничей гнев и ругань.

Учился он хорошо по всем предметам. Несколько труднее давалась арифметика и геометрия, по которым в итоге выходили тройки. Письма дяди к нему также меняют свой характер. С ним делятся огорчениями, которые были вызваны неприязненным отношением екатеринбургского почтмейстера с аристократической фамилией Де Велий, который сразу же как-то начал ущемлять права помощника, а дядя отстаивать их ради чувства чести и собственного достоинства. Дядя сообщает, что пока поселил их дурной начальник даже не в казенной квартире, и только после вмешательства высшего начальства его поместили в здании самой Почтовой конторы, как и полагалось, в трехкомнатной квартире с кухней. Дядя рассказывает, как прошли праздники, какие новости есть, беспокоится, когда будут экзамены в училище, к которым

он хочет приехать. Тон писем дружеский, в нем – признание взрослости племянника, выкормленного им, уважение к нему как к равному.

Планы на будущее для самого Федора Михайловича не ясны. Служба его не привлекает. Писателем – это ясно – пока он стать не может. Он вынашивает в себе какие-то неопределенные мечты, которыми не с кем поделиться. Дядя их не поймет.

«Забитые люди», ведущие жизнь городских обывателей с их заботами и нуждами, выдвинули в литературу человека из своей среды. Но тема жизни людей, составляющих этот клан, не станет главной. Как и А. М. Горький позднее, Решетников заговорит голосом не только униженных, сколько оскорбленных, не столько замирающих в страхе перед жизнью, сколько ищущих, где же лучше и как лучше. Он станет голосом не мещанской болотной Руси, а голосом рабочей массы, за которой было будущее.

Публ. М. И. Держачевой

В. В. Эйдинова

ПРЕКРАСНАЯ СТРАННОСТЬ...

Мои встречи с Валентином Ванифатьевичем Короной были очень нечастыми и всегда – полемическими. *Полемическими* – это определение, которым я пытаюсь передать какую-то существенную, органическую для его натуры сторону, приближается к его человеческому Лицу, видимо, несколько отдаленно. К нему – как я теперь чувствую и понимаю, держа в руках его книжку об Анне Ахматовой, – приложим такой ряд благодарно-прощальных слов, которые окажутся способными выразить его удивительную, поражающую непохожесть на многих, на каждого из нас, тоже своеобразных, необычных, отличных друг от друга людей. Однако степень его человеческой редкости превышает, думается, то, что можно сказать о самобытности самых замечательных в своей единственности личностей. «Особость» его, как мне кажется, проявлялась в той *безграничной уверенности в правоте своего взгляда, своего понимания* (в нашем с ним случае – понимания специфики ахматовского мира, его пафоса, его выстроенности). И вера его в найденный им образ поэта представляла настолько непререкаемой, что диалог с ним не мог быть спокойным, ровным, логически выстроенным... Совершенно безусловные для меня (как и для целой группы преподавателей-филологов) представления, соображения, аргументы, только что казавшиеся не только вполне убедительными, но очевидными и даже тривиальными, вдруг в диалоге с Валентином Ванифатьевичем теряли свою прочность и доказательность, «становясь» на дороге сомнения. Это происходило, в чем я была уверена ранее и остаюсь уверенной и сейчас, благодаря той самой непреходящей вере его не только в свой «предмет», но, главное, – в свой подход к поэтическому тексту и в итоге – в свои выводы и результаты.

Выводы Валентина Ванифатьевича были далекими от индивидуальности А. Ахматовой, ибо он не воспринимал ее поэзию эстетически, подходя к ней скорее экспериментально, научно-естественным путем. Но убедить его в неточности и неадекватности избранного им решения было поистине невозможно. Его упор-